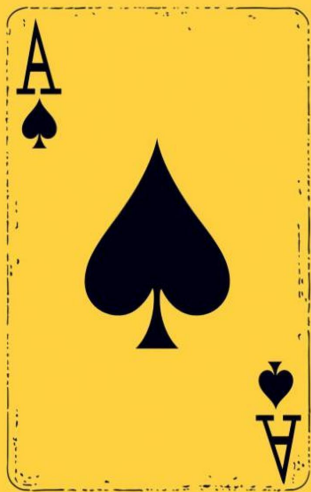


Александр Восьмой



Книга 12. «Пробуждение»

18+

Александр Восьмой

Книга 12. «Пробуждение»

<https://litres.ru/74435198>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тишина. Белая комната. Шесть коек. Реанимация. Врач говорит медсестре: «Невероятно. Все шестеро вернулись». Кома — общая, одновременная, шесть дней. Анализы — чистые. Только у всех — следы на теле, которых не было до комы: у Фаргуса — ожог на спине, как от потери тени; у Примы — бледность, как у того, кого забыл мир; у Окси — порезы на ладонях, как от битого стекла; у Даффи — истощение, как от голода; у Сиринити — царапины на запястье, как от часового механизма. У Оптимы — ничего. И она одна помнит всё. Остальные — нет. Но когда их выписывают и они впервые видят друг друга в коридоре больницы, Даффи говорит: «Странно. Как будто мы уже знакомы». Прима молча кивает. Фаргус трогает спину. Окси сжимает кулаки. Сиринити смотрит на часы на стене и шепчет: «Они тикают». Оптима улыбается. Не лучшей улыбкой — настоящей. Разлом закрыт. Но тикает.

Александр Восьмой

Книга 12. «Пробуждение»

Глава 1. Белая комната

Тишина здесь была не просто отсутствием звука — она давила, как свинцовое небо перед бурей. Шесть коек. Шесть тел. Шесть дней небытия, слившихся в один сплошной чёрный провал, из которого никто не должен был вернуться.

Реанимация пустела, будто сама спешила избавиться от этого странного совпадения. Врач, седой, с усталыми глазами, тихо сказал медсестре:

— Невероятно. Все шестеро вернулись.

Анализы были чистыми. Показатели — в норме. Жизнь уверенно пульсировала в венах, но тела хранили чужие, необъяснимые истории. У Фаргуса на спине темнел ожог — словно тень, которую у него вырвали силой. Прима была бледна так, будто мир на миг забыл, что она существует, и теперь спешно возвращал цвет её коже. На ладонях Окси алели тонкие порезы — будто он сжимал осколки разбитого стекла, не чувствуя боли. Даффи, всегда шумный и весёлый, теперь казался выжатым досуха, словно за эти шесть дней его лишили всех сил. На запястье Сиринити виднелись тонкие царапины — будто невидимые шестерёнки времени цеплялись за её кожу.

А Оптима... У Оптимы не было ни следа. Ни царапины, ни ожога, ни тени истощения. И только она помнила всё: холод, голоса из темноты, шёпот, который обещал, что разлом закроется, но тиканье останется.

Их выписали почти одновременно. В коридоре больницы они впервые увидели друг друга при дневном свете — и воздух между ними дрогнул от странного узнавания.

Даффи потёр виски и пробормотал:

— Странно. Как будто мы уже знакомы.

Прима молча кивнула, будто боялась спугнуть это чувство. Фаргус невольно коснулся спины, где под тканью прятался ожог. Окси сжал кулаки, стирая с памяти ощущение осколков. Сиринити подняла взгляд на часы на стене — и прошептала, глядя на бегущую секундную стрелку:

— Они тикают.

Оптима улыбнулась. Не наигранно, не для того, чтобы успокоить. По-настоящему. Так улыбаются те, кто знает больше, чем должен.

— Разлом закрыт, — тихо сказала она, почти про себя. — Но тикает.

И в этот момент часы на стене щёлкнули, будто подтверждая её слова.

Лифт не пришёл.

Шесть человек стояли в больничном коридоре, и каждый из них был один. Не в том смысле, что рядом не было людей, — а в том, что каждый держал внутри себя пустоту, которую не мог объяснить.словно из них вынули что-то важное, а обратно вложили всё, кроме этого «чего-то».

Даффи первым нарушил тишину. Он был крупным, с мягким лицом, которое ещё помнило, как быть весёлым, — но сейчас в его глазах стояла тень голода. Не того голода, что утоляется едой. Того, который ест изнутри.

— Странно, — сказал он, оглядывая пятерых, будто искал в их лицах ответ на вопрос, который сам не мог сформулировать. — Как будто мы уже знакомы.

Никто не рассмеялся. Никто не пожал плечами. Потому что каждый из них думал то же самое.

Прима молча кивнула. Она стояла у стены, бледная до синевы, и её молчание было не неловкостью, а глубиной: так молчат те, кто знает цену слову и боится её платить. Когда мир забывает о тебе на шесть дней — ты учишься молчанию как языку.

Фаргус, высокий, с резкими скулами и взглядом, который цеплялся за всё сразу, тронул спину. Движение было коротким, незаметным для других, — но ожог под тканью рубашки горел. Не температурой. Памятью. Как будто тень, которую он потерял, до сих пор где-то звала его назад.

Окси сжал кулаки. Порезы на ладонях, тонкие, затянув-

шиеся, — но когда он сжимал пальцы, кожа ныла, напоминая: стекло было настоящим. Кровь была настоящей. Что-то за этим стояло — и оно не отпускало.

Сиринити подняла взгляд к часам на стене. Обычные больничные часы, белые, круглые, с чёрными стрелками. Она смотрела на них так, будто видела не время, а механизм. Шестерёнки. Пружину. Тиканье. Её губы шевельнулись — едва, почти беззвучно:

— Они тикают.

В её голосе не было страха. Было узнавание. Так звучит человек, который слышит мелодию, что когда-то звучала в самом страшном сне, — и теперь слышит её наяву.

Лифт загудел. Двери начали разъезжаться.

И в этот момент Оптима улыбнулась.

Не той улыбкой, которую носят, чтобы нравиться. Не той, что скрывает страх. Она улыбнулась так, как улыбаются, когда видят, что всё сложилось — страшно, неправильно, не по правилам, — но сложилось. По-настоящему.

— Разлом закрыт, — сказала она тихо, и голос её был ровным, как линия горизонта перед рассветом. — Но тикает.

Она вошла в лифт первой. За ней — Даффи, Прима, Фаргус, Окси, Сиринити. Шесть незнакомцев, которые не должны друг друга знать. Двери закрылись.

Часы на стене тикали.

И где-то очень глубоко — там, где кончается медицина и начинается то, чему нет названия, — тикало и кое-что дру-

гое. Что-то, что закрыли, но не сломали. Что заперли, но не забыли. Что затихло — но только до следующего хода стрелок.

Глава 3. Тень без хозяина

Первая ночь после комы пришла не как тьма — она пришла как тишина. Будто мир выключил звук и оставил только дыхание.

Фаргус не спал. Он лежал в съёмной квартире на краю города, смотрел в потолок и чувствовал, как ожог на спине пульсирует в такт с чем-то, чего он не мог увидеть. Потом всё-таки заснул — и провалился.

Бескрайнее белое поле.

Небо и земля слились в одно полотно, без горизонта, без линии раздела. Фаргус стоял босиком на чём-то, что не было ни травой, ни камнем, ни полом — просто поверхностью, которая существовала, потому что он на ней стоял. Ветра не было. Запаха не было. Цвета были, но приглушённые, будто кто-то выкрутил насыщенность на минимум.

И он был не один.

Вдалеке — фигуры. Полупрозрачные, нечёткие, как недосмотренный сон. Они шли к чему-то, что Фаргус не мог разглядеть: чёрная точка, трещина, разлом в ткани поля. Она пульсировала, дышала, жила.

А потом он почувствовал, как что-то отрывается от него. Не снаружи. Изнутри. Словно плоскую, тёмную, послуш-

ную часть его самого — ту, что всегда следовала за ним, повторяя каждое движение, — взяли за край и потянули. Ожог вспыхнул так, что Фаргус закричал. Но крика не было — белый поле поглощало звук, как вода поглощает камень.

Тень отделилась.

Он видел это — своими глазами, не во сне, не в бреду: его тень, тёмный плоский силуэт, который всю жизнь повторял его шаги, — поднялась с земли, встала на ноги, как отдельное существо, и пошла к разлому. Медленно, уверенно, не оборачиваясь. И Фаргус не мог сдвинуться. Не мог позвать. Не мог остановить её.

Тень вошла в разлом. Разлом закрылся, как вода, в которую бросили камень. Поле стало пустым. Абсолютно, мучительно пустым.

Фаргус проснулся.

Квартира. Потолок. Часы на тумбочке — три семнадцать ночи. Ожог горел так, будто его приложили к раскалённому металлу. Он сел на кровати, дотронулся до спины — и пальцы ощутили рельеф шрама, которого не было шесть дней назад.

Сна не было. Фаргус знал это с той отчётливостью, с какой знают только настоящее. Это был не кошмар. Это была память.

Но память о чём?

В своей квартире, через три улицы от Фаргуса, Оптима тоже не спала.

Она сидела на полу у окна, обхватив колени, и смотрела на ночной город. Огни фонарей, свет в чужих окнах, мерцание реклам — всё это было здесь, по эту сторону реальности. А по ту сторону — было поле.

Оптима помнила его. Помнила идеально, до последнего блика, до последнего вздоха белой тишины. Помнила, как Фаргус стоял на поле и кричал беззвучным криком. Помнила, как его тень — тёмная, покорная, послушная шесть дней тени — поднялась с земли и ушла к разлому. Помнила, как разлом принял её, как рука принимает лезвие: жадно, больно, навсегда.

Она видела всё. Шесть дней на белом поле, шестеро людей и то, что забирало у каждого — тень, цвет, кожу, силы, время. Оптима была единственной, у кого разлом ничего не взял. И единственной, кто помнил, почему.

Но она молчала.

Не потому, что не доверяла. А потому, что правда была тяжелее лжи — и пока они не вспомнят сами, слова Оптимы будут звучать как безумие. Она знала это. Она ждала.

За окном мигнул фонарь — коротко, нервно, будто моргнул.

Оптима закрыла глаза. В темноте под веками — белое поле, разлом и тень Фаргуса, уходящая в никуда.

Где-то в городе, в съёмной квартире на краю, Фаргус сно-

ва тронул спину.

Ожог был тёплым.

Как рука того, кто ещё не до конца ушёл.

Глава 4. Часовой механизм

Тиканье началось на третий день.

Сначала Сиринити думала — соседи. Стены в её квартире были тонкие, трубы отопления стучали, старый дом жил своей отдельной, нервной жизнью. Но тиканье не прекращалось. Ни ночью, ни утром, ни в тишине ванной, где не должно было быть слышно ничего, кроме воды.

Она прижала ладонь к уху. Потом к груди. Потом к запястью.

Там.

Тиканье шло изнутри. Из-под кожи, из-под царапин, которые уже почти зажили — тонких, параллельных, будто от шестерёнок, которые крутились прямо по живому. Сиринити слушала и понимала: это не галлюцинация. Это не стресс. Это — что-то, что осталось в ней.

На четвёртый день проступил рисунок.

Она увидела его утром, когда мыла руки. Царапины на запястье не побелели, не исчезли — наоборот, они потемнели, сложились в узор. Круг. Стрелки. Деления. Не цифры — скорее метки, каких не бывает ни на одном циферблате: двенадцать символов, каждый из которых Сиринити словно знала, но не могла прочесть. Они были у неё в голове, как

слова на языке, которому она не училась.

Рисунок пульсировал. Не больно — но ощутимо. Как второе сердцебиение, только быстрее и ровнее.

Врач был молод и уверен в себе.

— Психосоматика, — сказал он, разглядывая запястье через лупу. — После комы это часто бывает. Организм пережил стресс, нервная система ищет выход. Нарисуете на чём угодно — на коже в том числе.

Рентген показал чистую кожу. Никаких инородных тел. Никаких включений. Никаких механизмов. Снимок — просто рука. Просто запястье. Просто человек.

— Всё чисто, — врач улыбнулся профессионально. — Ничего нет.

Сиринити опустила рукав. Не стала спорить. Потому что тиканье не замолчало. Оно звучало прямо сквозь слова врача, сквозь гул аппарата, сквозь белый шум больницы — ровное, неумолимое, как приговор.

Оптимист встретила её у выхода.

Это не было случайно. Сиринити знала это, и Оптимист знала, что Сиринити знает. Они стояли у стеклянных дверей поликлиники — и Оптимист вдруг сказала:

— Покажи.

Сиринити замерла. Она никому не показывала рисунок — только врачу, который сказал «психосоматика». Но в голосе Оптимы не было любопытства. Было узнавание. Так спрашивают о том, что уже видели.

Сиринити закатала рукав.

Оптиме посмотрела — и побледнела.

Побледнела так, что веснушки на её лице стали казаться нарисованными углем на белой бумаге. Глаза расширились, рот приоткрылся, и Сиринити увидела в этих глазах не страх — ужас. Тихий, глубокий, тот, что живёт не на поверхности, а в самом дне, куда не добираются ни слова, ни утешения.

— Ты знаешь, что это, — сказала Сиринити. Не спросила. Констатировала.

Оптиме молчала три секунды. Три секунды, которые Сиринити запомнит навсегда — потому что в этих трёх секундах Оптиме решала: сказать или нет.

— В мире за Разломом, — начала Оптиме, и голос её был ровным, но хрупким, как стекло, в котором уже есть трещина, — у тебя был ключ. Часовой механизм. Он запускал обратный отсчёт — до момента, когда мы должны были вернуться. Без него мы бы остались там. Навсегда. Белое поле держит, пока тикает. Перестает тикать — и ты остаёшься.

— И что? — Сиринити сжала запястье. Рисунок под пальцами был тёплым. Живым.

— Ключ остался внутри, — сказала Оптиме. — Ты принесла его обратно. Он не на коже, Сиринити. Он в тебе. Ри-

сунок — это не след. Это интерфейс.

Сиринити смотрела на Оптиму. Тиканье в запястье стало громче — или ей показалось.

— Что он отсчитывает сейчас? — спросила она.

Оптиме не ответила. Но Сиринити увидела в её глазах то, чего раньше не замечала: тень. Не на лице — внутри. Тень, которую Оптиме несла с того поля, и которая не давала ей спать уже четвёртую ночь.

Тиканье не прекращалось.

И где-то за ним, за метками, которых не было ни на одном циферблате, — что-то отсчитывало время, которое ещё не наступило.

Глава 5. Те, кого забыл мир

Прима исчезла на пятый день.

Не в воздух, не в темноту, не в белый разлом — она исчезла из памяти мира, как строчка, которую стёрли ластиком. Аккуратно, без следов, без мусора.

Соседи по лестничной клетке смотрели на Оптиму пустыми глазами.

— Прима? Нет такой. Третья квартира? Пустая. Лет пять никто не жил.

Оптиме проверила. Дверь была не заперта — просто закрыта, как закрывают кладовые. Внутри — голые стены, пыль, тишина и запах, который уже не принадлежал никому. На подоконнике — одинокий отпечаток ладони на сером на-

лёте. Маленькая ладонь. Бледная.

Телефонная книга — пустая строка, где должен был быть номер. Соцсети — профиль не найден. Больничная карта — выписана, но имя в графе «пациент» размыто, будто чернила испугались остаться.

Мир вычеркнул Приму. Не грубо, не больно — бережно, как вынимают страницу из книги, которая больше не нужна. Без шума. Без сопротивления.

Крыша больницы была местом, куда не вели указатели.

Оптимаша нашла её там — потому что помнила. Помнила, как на белом поле Прима стояла у края разлома и говорила без слов: «Я останусь, чтобы вы вернулись». Помнила, как бледность поднялась по её коже, как иней по стеклу, — от ног к сердцу, от сердца к лицу. Как мир за Разломом забирал её по частям: сначала имя, потом голос, потом отражение в глазах других. Как Прима платила за выход пятерых — своей связью с реальностью.

И Оптимаша помнила, как держала её за руку, когда разлом закрывался. Держала — чтобы хоть что-то осталось.

Прима сидела на краю крыбы. Ноги свисали в пустоту. Ветер трепал светлые волосы, но Прима не реагировала — будто ветер проходил сквозь неё, будто она была уже не совсем

здесь.

Она была бледна так, что кожа казалась прозрачной. Не больной — именно прозрачной, как рисунок карандашом, который почти стёрли, но контур ещё угадывается. Глаза — открыты, ясны, но без отражения. Ни неба, ни солнца, ни Оптимы, которая подошла и встала рядом. Зрачки Примы были окнами в комнату, где кто-то выключил свет.

— Ты меня видишь? — спросила Оптима.

Тишина. Ветер. Далёкий гул города внизу.

— Я тебя вижу, — сказала Прима. Голос был тихий, ровный, как звук, который издаёт вода, капающая в пустую чашу. — Но я не уверена, что вижу себя.

Оптима села рядом. Бетон был холодным. Город внизу жил — машины, люди, огни, чья-то жизнь, чьи-то имена, чья-то память. Всё это продолжалось, будто Примы в нём никогда не было.

— Мир забыл тебя, — сказала Оптима. Без смягчений, без пауз. Потому что Прима заслуживала правды больше, чем жалости.

— Я знаю, — Прима чуть повернула голову. — Я видела, как это происходит. Сначала соседка прошла мимо и не поздоровалась. Потом коллега не узнал в трубке. Потом в зеркале... — она замолчала.

— Что в зеркале?

— Задержка. Доля секунды. Сначала отражение, потом я. Будто зеркало решает: есть ли ещё повод меня показывать.

Оптиме взяла её за руку. Ладонь Примы была холодной — не мёртвой, но холодной, как металл, который долго лежал в тени.

— Я помню тебя, — сказала Оптиме. — Я помню, как ты стояла у разлома. Как ты сказала: «Я останусь». Как ты отдала всё, чтобы мы пятеро вернулись. Я помню твоё имя, твой голос, твой смех, который я слышала один раз — на белом поле, перед тем как всё началось. Мир забыл тебя, Прима. Но я — нет.

Прима смотрела на неё. В глазах, где не было отражения, вдруг что-то дрогнуло — не свет, не образ, а тень тени. Признак того, что внутри ещё кто-то есть.

— Почему ты помнишь? — спросила Прима.

— Потому что я заплатила иначе, — ответила Оптиме. — У меня нет следов, Прима. Не потому, что разлом меня не тронул. А потому, что он взял не тело. Он взял способность забыть. Я не могу забыть ничего. Ни поля, ни разлома, ни вас. Ни того, что ты сделала.

Прима сжала её руку. Слабо, но сжала. И Оптиме почувствовала: это не жест благодарности. Это жест якоря. Так держатся за последнюю верёвку, когда всё остальное уже ушло под воду.

— Если ты забудешь, — прошептала Прима, — я исчезну. Совсем. Не умру — просто перестану быть. Как слово, которое никто больше не произносит.

— Не забуду, — сказала Оптиме.

Ветер на крыше стих. Город внизу жил, не подозревая, что на крыше его главной больницы сидит девушка, которую реальность вычеркнула из списка. И что единственное, что держит её здесь, — это рука другой девушки, которая не может забыть.

Рисунок на запястье Сиринити тикал.

Ожог на спине Фаргуса горел.

Где-то в глубине закрытого разлома что-то шевельнулось — тень без хозяина, ключ без замка, цена без чека. Разлом был закрыт.

Но он дышал.

Глава 6. Битое стекло

Окси не спала шесть ночей.

Не потому, что боялась. Она просто знала: стоит закрыть глаза — и там снова будет коридор. Пол, стены, потолок — всё из битого стекла. Не россыпь, не осколки на полу — именно коридор, выстроенный из стекла, как чужая, жестокая архитектура. Каждая поверхность — лезвия. Каждый шаг — разрез. И где-то в конце — свет. Тусклый, дрожащий, как свеча за стеклянной стеной.

Нужно пройти. Босиком.

Окси просыпалась, сжимая кулаки. Порезы на ладонях были — тонкие, затянувшиеся, но живые, как строки, которые никто не должен забыть. И каждый раз, просыпаясь, она задавала себе один вопрос.

Кого она закрывала?

Потому что порезы были не на ступнях. На ладонях. На коленях. На предплечьях. Если бы она просто шла — стекло резало бы ноги. Но она ползла. На четвереньках, закрывая собой кого-то, прижимая к себе, принимая осколки на руки, на спину, на всё, что могло принять. Она ползла — а кто-то под ней был защищён.

Кто?

Окси не помнила. Лицо стёрлось. Голос — исчез. Осталось только тело — ощущение чужого дыхания на ключицах, чужих рук, вцепившихся в её рубашку, чужого страха, который был тише её собственного.

Седьмая ночь. Окси сдалась.

Она легла, закрыла глаза — и коридор ждал. Он всегда ждал. Терпеливо, как зверь, который знает, что добыча придёт сама.

Стекло. Повсюду. Бесконечный тоннель, где каждый шаг звучал как треск, а каждый вдох приносил запах меди и холода. Окси стояла у входа — и видела в конце туннеля свет. Разлом. Выход.

И она пошла. Не босиком — на четвереньках. Потому что ноги скользили, потому что стекло было всюду, потому что за её спиной кто-то был.

Она не видела кто. Но чувствовала — тепло, вес, дыха-

ние. Кто-то маленький, прижатый к её спине, как ребёнок, как птица, как то, что нельзя потерять. Окси ползла, и стекло врезалось в ладони — глубоко, ровно, без лишней боли, словно коридор знал своё дело.

Она ползла и шептала:

— Не двигайся. Не двигайся. Я доведу.

Стекло хрустело. Ладони горели. И свет в конце — приближался.

Окси проснулась.

Руки — в крови. Свежей, тёплой, настоящей. Порезы открылись. На простыне — алые отпечатки ладоней, два одинаковых круга, как печать.

Она сидела на кровати, смотрела на свои руки и плакала. Беззвучно, без всхлипов — просто слёзы катились по щекам и падали на ладони, смешиваясь с кровью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.